**В.Астафьев**

**Царь-рыба**

      В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе -- Игнатьичем. Был он старшим братом Командора и как к брату, так и ко всем остальным чушанцам относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал, от людей не отворачивался, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату, при дележе добычи не крохоборничал.
      Правда, ему и делиться не надо было. Он везде и всюду обходился своими силами, но был родом здешний -- сибиряк -- и природой самой приучен почитать "опчество", считаться с ним, не раздражать его, однако шапку при этом лишка не ломать, или, как здесь объясняются, не давать себе на ноги топор ронить. Работал он на местной пилораме наладчиком пил и станков, однако все люди подряд, что на производстве, что в поселке, единодушно именовали его механиком.
      И был он посноровистей иного механика, любил поковыряться в новой технике, особенно в незнакомой, дабы постигнуть ее существо. Сотни раз наблюдалась такая картина: плывет по Енисею лодка сама собой, на ней дергает шнур и лается на весь белый свет хозяин, измазанный сажей, автолом, насосавшийся бензина до того, что высеки искру -- и у него огонь во рту вспыхнет. Да нет ее, искры-то, и мотор никаких звуков не издает. Глядь, издали несется дюралька, задрав нос, чистенькая, сверкающая голубой и белой краской, мотор не трещит, не верещит, поет свою песню довольным, звенящим голоском -- флейта, сладкозвучный музыкальный инструмент, да и только! И хозяин под стать своей лодке: прибранный, рыбьей слизью не измазанный, мазутом не пахнущий. Если летом, едет в бежевой рубахе, в багажнике у него фартук прорезиненный и рукавицы-верхонки. Осенью в телогрейке рыбачит Игнатьич и в плаще, не изожженном от костров, не изляпанном -- он не будет о свою одежду руки вытирать, для этого старая тряпица имеется, и не обгорит он по пьянке у огня, потому что пьет с умом, и лицо у Игнатьича цветущее, с постоянным румянцем на круто выступающих подглазьях и чуть впалых щеках. Стрижен Игнатьич под бокс, коротко и ладно. Руки у него без трещин и царапин, хоть и с режущими инструментами дело имеет, на руках и переносице редкие пятнышки уже отлинявших веснушек.
\*\*\*

Вздохнет выразительно Игнатьич, чего-то крутанет в моторе, вытащит, понюхает и скажет: "Все! Отъездился мотор, в утиль надо сдавать". Либо оботрет деталь, почистит, отверткой ткнет в одно, в другое место и коротко бросит: "Заводи!" -- перепрыгнет в свою лодку, достанет мыло из карманчика лодки, пластмассовую щетку, руки помоет и тряпицей их вытрет. И никакого магарыча ему не надо. \*\*\*

      Само собой, ловил Игнатьич рыбу лучше всех и больше всех, и это никем не оспаривалось, законным считалось, и завидовать никто ему не завидовал, кроме младшего Утробина, который всю жизнь чувствовал себя на запятках у старшего брата, а был с мозглятинкой -- гнильцой самолюбия, не умел и не хотел скрывать неприязни к брату и давно уже, давно они отурились друг от друга, встречались на реке да по надобности -- в дни похорон, свадеб, крестин. Игнатьич имел лучший в поселке дом, небольшой, зато самый красивый, с верандочкой, с резными наличниками, с весело выкрашенными ставенками, с палисадником под окнами, в котором росли малина, черемуха, цветки ноготки, мохнатые маки и неизвестные здешнему народу шаровидные цветы, корни которых похожи на брюковки. Привезла их из Фрунзе и приучила расти в суровом чушанском климате жена Игнатьича, работавшая бухгалтером на одном с мужем предприятии.
      Слух был, что у Игнатьича лежит на книжке семьдесят тысяч старыми. Игнатьич слухи эти не опроверг, болтливую работницу сберкассы, выдавшую "тайну вклада", не одернул, но счет свой перевел в Енисейск. И притихла работница сберкассы, старалась на улице с Игнатьичем не встречаться, если разминуться все же не удавалось, опускала глаза и, торопливо пробегая, навеличивала: "Здрасте, Зиновий Игнатьич!"
      У Игнатьича стояло возле Опарихи три конца. Чуть на отшибе от фарватера, чтоб не получилось, как у Куклина, не нашел бы темной осенней ночью лодку нос парохода и не клюнул бы ее. Однако и в сторонке от стрежи дивно брал стерлядей Игнатьич.

\*\*\*
      В студеный осенний морок вышел Игнатьич на Енисей, завис на самоловах. Перед тем как залечь на ямы, оцепенеть в долгой зимней дремотности, красная рыба жадно кормилась окуклившимся мормышем, ошивалась, как нынешние словотворцы говорят, возле подводных каменных гряд, сытая играла с пробками и густо вешалась на крючья.
      С двух первых самоловов Игнатьич снял штук семь-десять стерлядей, заторопился к третьему, лучше и уловистей всех стоящему. Видно, попал он им под самую каргу, а это дается уж только мастерам высшей пробы, чтоб на гряду самуе не бросить -- зависнет самолов, и далеко не сплыть -- рыба проходом минует самолов. Чутье, опыт, сноровка и глаз снайперский требуются. Глаз острится, нюх точится не сам собою -- с малолетства побратайся с водою, постынь на реке, помокни и тогда уж шарься в ней, как в своей кладовке...
\*\*\*

      Он не снимал стерлядь с крючков, а стерляди, стерляди!.. Бурлила, изогнувшись в калач, почти на каждой уде стерлядка, и вся живая. Иные рыбины отцеплялись, уходили, которая сразу вглубь, которые подстреленно выбрасывались и шлепались о воду, клевали острием носа борт лодки -- у этих поврежден спинной мозг, визига проткнута, этой твари конец -- с порченым позвоночником, с проткнутым воздушным пузырем, с порванными жабрами рыба не живет. Налим, на что крепкущая скотина, но как напорется на самоловные уды -- дух из него вон и кишки на телефон.
      Шла тяжелая, крупная рыбина, била по тетиве редко, уверенно, не толкалась попусту, не делала в панике тычков туда-сюда. Она давила вглубь, вела в сторону, и чем выше поднимал ее Игнатьич, тем грузнее она делалась, остойчивей упиралась. Добро, хоть не делала резких рывков -- щелкают тогда крючки о борт. ломаются спичками, берегись, не зазевайся, рыбак, -- цапнет удой мясо иль одежду, ладно, крючок обломится, ладно, успеешь схватиться за борт, пластануть ножом капроновое коленце, которым прикреплена к хребтовине самолова уда, иначе...
      Незавидная, рисковая доля браконьера: возьми рыбу да при этом больше смерти бойся рыбнадзора -- подкрадется во тьме, сцапает -- сраму наберешься, убытку не сочтешь, сопротивляться станешь -- тюрьма тебе. … Игнатьич с рыбиной борется, добычу к лодке правит, а оно, в груди-то, ухом поводит, глазом недреманным тьму ощупывает. Вдали огонек мелькнул, оно уж трепыхнулось: какое судно? Опасность от него? Отцепляться от самолова? Пускать рыбину вглубь? А она, живая, здоровенная, может изловчиться и уйти.

\*\*\*

По всем повадкам рыбы, по грузному, этому слепому давлению во тьму глубин угадывался на самолове осетр, большой, но уже умаянный.
      За кормой взбурлило грузное тело рыбины, вертанулось, забунтовало, разбрасывая воду, словно лохмотья горелого, черного тряпья. Туго натягивая хребтину самолова, рыба пошла не вглубь, вперед пошла на стрежь, охлестывая воду и лодку оборвышами коленцев, пробками, удами, ворохом волоча скомканных, умаянных стерлядей, стряхивая их с самолова. "Хватил дурило воздуху. Забусел!" -- мгновенно подбирая слабину самолова, думал Игнатьич и увидел рыбину возле борта лодки. Увидел и опешил: черный, лаково отблескиваю- щий сутунок со вкось, не заподлицо, обрубленными сучьями; крутые бока, решительно означенные остриями плащей, будто от жабер до хвоста рыбина опоясана цепью бензопилы. Кожа, которую обминало водой, щекотало нитями струй, прядущихся по плащам и свивающихся далеко за круто изогнутым хвостом, лишь на вид мокра и гладка, на самом же деле ровно бы в толченом стекле, смешанном с дресвою.
      Что-то редкостное, первобытное было не только в величине рыбы, но и в формах ее тела, от мягких, безжильных, как бы червячных, усов, висящих под ровно состругнутой внизу головой, до перепончатого, крылатого хвоста -- на доисторического ящера походила рыбина, какой на картинке в учебнике по зоологии у сына нарисован.
\*\*\*
      "Да что же это я? -- поразился рыбак, -- ни Бога ни черта не боюся, одну темну силу почитаю... Так, может, в силе-то и дело?" -- Игнатьич захлестнул тетиву самолова за железную уключину, вынул фонарик, воровато, из рукава осветил им рыбину с хвоста. Над водою сверкнула острыми кнопками круглая спина осетра, изогнутый хвост его работал устало, настороженно, казалось, точат кривую татарскую саблю о каменную черноту ночи. Из воды, из-под костяного панциря, защищающего широкий, покатый лоб рыбины, в человека всверливались маленькие глазки с желтым ободком вокруг томных, с картечины величиною, зрачков. Они, эти глазки, без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью, чего-то таили в себе.
      Осетр висел на шести крючках. Игнатьич добавил ему еще пяток -- боровина даже не дрогнул от острых уколов, просекших сыромятно-твердую кожу, лишь пополз к корме, царапаясь о борт лодки, набирая разгон, чтобы броситься по туго в него бьющей воде, пообрывать поводки самолова, взять на [типок](http://www.lib.ru/PROZA/ASTAFIEW/ryba.txt_with-big-pictures.html#%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA) тетиву, переломать все эти махонькие, ничтожные, но такие острые и губительные железки.
      Жабры осетра захлопали чаще, заскрипели решительней. "Сейчас пойдет!" -- похолодел Игнатьич. Не всем умом, какой-то его частью, скорее опытом он дошел -- одному не совладать с этаким чудищей. Надо засадить побольше крючков в осетра и бросить конец -- пусть изнемогает в глуби. Прискачет младший братец на самоловы, поможет. Уж в чем, в чем, а в лихом деле, в боренье за добычу не устоит, пересилит гордыню. Совхозная самоходка ушла за вырубленной в Заречье капустой, и, пока судно разгрузит овощ, пока затемняет, Командор к Опарихе не явится.
      Надо ждать, жда-ать! Ну а дождешься, так что? Делить осетра? Рубить на две, а то и на три части -- с братцем механик увяжется, этакий, на бросового человечишку Дамку похожий обормот. В осетре икры ведра два, если не больше. Икру тоже на троих?! "Вот она, вот она, дрянь-то твоя и выявилась! Требуха-то утробинская с мозглятинкой, стало быть, и вывернулась!.." -- с презрением думал о себе Игнатьич.
      Кто он сейчас? Какой его облик вылупается? Лучше Дамки, недобитого бандеровца Грохотало иль младшего братца? Все хапуги схожи нутром и мордой!

\*\*\*

      Упускать такого осетра нельзя. Царь-рыба попадается раз в жизни, да и то не всякому Якову. Дамке отродясь не попадала и не попадется -- он по реке-то не рыбачит, сорит удами...
      Игнатьич вздрогнул, нечаянно произнеся, пусть и про себя, роковые слова -- больно уж много всякой всячины наслушался он про царь-рыбу, хотел ее, богоданную, сказочную, конечно, увидеть, изловить, но и робел. Дедушко говаривал: лучше отпустить ее, незаметно так, нечаянно будто отпустить, перекреститься и жить дальше, снова думать об ней, искать ее. Но раз произнеслось, вырвалось слово, значит, так тому и быть, значит, брать за жабры осетрину, и весь разговор! Препоны разорвались, в голове, в сердце твердость -- мало ли чего плели ранешные люди, знахари всякие и дед тот же -- жили в лесу, молились колесу...
      "А-а, была не была!" -- удало, со всего маху Игнатьич жахнул обухом топора в лоб царь-рыбу и по тому, как щелкнуло звонко, без отдачи гукнуло, догадался -- угодило вскользь. Надо было не со всей дурацкой силы бить, надо было стукнуть коротко, зато поточнее. Повторять удар некогда, теперь все решалось мгновениями. Он взял рыбину крюком на упор и почти перевалил ее в лодку. Готовый издать победный вопль, нет, не вопль -- он ведь не городской придурок, он от веку рыбак, просто тут, в лодке дать еще разок по выпуклому черепу осетра обухом и рассмеяться тихо, торжественно, победно.
      Вдох, усилие -- крепче в борт ногою, тверже упор. Но находившаяся в столбняке рыба резко вертанулась, ударилась об лодку, громыхнула, и черно поднявшимся ворохом не воды, нет, комьями земли взорвалась река за бортом, ударило рыбака тяжестью по голове, давнуло на уши, полоснуло по сердцу. "А-ах!" -- вырвалось из груди, как при доподлинном взрыве, подбросившем его вверх и уронившем в немую пустоту. "Так вот оно как, на войне-то..." -- успел он еще отметить. Разгоряченное борьбой нутро оглушило, стиснуло, ожгло холодом.
      Вода! Он хлебнул воды! Тонет!
      Кто-то тащил его за ногу в глубину. "На крючке! Зацепило! Пропал!" -- и почувствовал легкий укол в голень -- рыба продолжала биться, садить в себя и в ловца самоловные уды. В голове Игнатьича тоскливо и согласно, совсем согласно зазвучала вялая покорность. "Тогда что ж... Тогда все..." Но был ловец сильным мужиком, рыба выдохшейся, замученной, и он сумел передолить не ее, а сперва эту вот, занимающуюся в душе покорность, согласие со смертью, которое и есть уже смерть, поворот ключа во врата на тот свет, где, как известно, замки для всех грешников излажены в одну сторону: "у райских врат стучаться бесполезно..."
…      "Господи! Да разведи ты нас! Отпусти эту тварь на волю! Не по руке она мне!" -- слабо, без надежды взмолился ловец. Икон дома не держал, в Бога не веровал, над дедушкиными наказами насмехался. И зря. На всякий, на хоть бы вот на такой, на крайний случай следовало держать иконку, пусть хоть на кухоньке, в случае чего -- на покойницу мать спереть можно было -- завещала, мол...
      Рыба унялась. Словно бы ощупью приблизилась к лодке, навалилась на ее борт -- все живое к чему-нибудь да жмется! Ослепшая от удара, отупевшая от ран, надранных в теле удами и крюком-подцепом, она щупала, щупала что-то в воде чуткими присосками и острием носа уткнулась в бок человеку. Он вздрогнул, ужаснулся, показалось, рыба, хрустя жабрами и ртом, медленно сжевывала его заживо. Он попробовал отодвинуться, перебираясь руками по борту накренившейся лодки, но рыба продвигалась за ним, упрямо нащупывала его и, ткнувшись хрящом холодного носа в теплый бок, успокаивалась, скрипела возле сердца, будто перепиливала надреберье тупой ножовкой и с мокрым чавканьем вбирала внутренности в раззявленный рот, точно в отверстие мясорубки.
      И рыба, и человек слабели, истекали кровью. Человечья кровь плохо свертывается в холодной воде. Какая же кровь у рыбы? Тоже красная. Рыбья. Холодная. Да и мало ее в рыбе. Зачем ей кровь? Она живет в воде. Ей греться ни к чему. Это он, человек, на земле обитает, ему в тепло надобно. Так зачем же, зачем перекрестились их пути? Реки царь и всей природы царь -- на одной ловушке. Караулит их одна и та же мучительная смерть. Рыба промучается дольше, она у себя дома, и ума у нее не хватит скорее кончить эту волынку. А у него ума достанет отпуститься от борта лодки. И все! Рыба одавит его вглубь, затреплет, истычет удами, поможет ему...
      \*\*\*

 Рыба тотчас успокоилась, придвинулась, сонно ткнулась уже не в бок, а под мышку ловца, и оттого, что не было слышно ее дыхания, слабо шевелилась над ней вода, он притаенно обрадовался: рыба засыпает, уморило ее воздухом, истекла она кровью, выбилась из сил в борьбе с человеком, вот-вот опрокинется вверх брюхом.
      Он, затихнув, ждал, чувствуя, что и сам погружается в дрему.
…      Зверь и человек, в мор и пожары, во все времена природных бед, не раз и не два оставались один на один -- медведь, волк, рысь -- грудь в грудь, глаз в глаз, ожидая смерти иной раз много дней и ночей. Такие страсти, ужасы об этом сказывались, но чтобы повязались одной долей человек и рыба, холодная, туполобая, в панцире плащей, с желтенькими, восково плавящимися глазками, похожими на глаза не зверя, нет -- у зверя глаза умные, а на поросячьи, бессмысленно- сытые глаза -- такое-то на свете бывало ль?
      …

      -- Не хочу-у! Не хочу-у-у-у! -- дернулся, завизжал Игнатьич и принялся дубасить рыбину по башке. -- Уходи! Уходи! Уходи-и-и-и!
…      И принялся ловец уговаривать рыбу скорее умереть.
      -- Ну что тебе! -- дребезжал он рваным голосом, с той жалкой, притворной лестью, которую в себе не предполагал, -- все одно околеешь, -- подумалось: вдруг рыба понимает слова! Поправился: -- Уснешь. Смирись! Тебе будет легче, и мне легче. Я брата жду, а ты кого? -- и задрожал, зашлепал губами, гаснущим шепотом зовя: -- Бра-ате-ель-ни-и-ик!..
\*\*\*

      Он шевельнулся и услышал рядом осетра, полусонное, ленивое движение его тела почувствовал -- рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить в себе зародившуюся жизнь.
      "Да уж не оборотень ли это?!"
… бесстрашный взгляд -- все-все подтверждало: оборотень! Оборотень, вынашивающий другого оборотня, греховное, человечье есть в сладостных муках царь-рыбы, кажется, вспоминает она что-то тайное перед кончиной.
      …      И из-за нее, из-за этакой гады забылся в человеке человек! Жадность его обуяла! Померкло, отодвинулось в сторону даже детство, да детства-то, считай, и не было. В школе с трудом и мукой отсидел четыре зимы.

\*\*\*      Опять дед вспомнился.... Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал голосом, тоже вроде бы от ревматизма искрученным, перемерзлым: "А ешли у вас, робяты, за душой што есь, тяжкий грех, срам какой, варначество -- не вяжитесь с царью-рыбой, попадется коды -- отпушшайте сразу. Отпушшай- те, отпушшайте!.. Ненадежно дело варначье".
Но какой же срам, какое варначество за ним такое страшное, коль так его скрутило?
…      Пробил его крестный час, пришла пора отчитаться за грехи.
      ...Глашка Куклина, девка на причуды и выдумки гораздая, додумалась однажды вываренный осетровый череп приспосо- бить вместо маски, да еще и лампочку от фонарика в него вделала. Как первый раз в темном зале клуба явилась та маска, народ едва рамы на себе не вынес. Страх, как блуд, и пугает, и манит. В Чуши с той поры балуются маской малы и велики.
      С Глашки-то Куклиной все и начинается.
      В сорок втором году на чушанскую лесопилку пригнали трудармейцев -- резать доски на снарядные ящики. Команду возглавлял тонкий да звонкий лейтенантик, из госпиталя. С орденом, раненый боевой командир появился в Чуши первый и скромностью никого удивлять не собирался, девок, млеющих перед его красотой и боевыми заслугами, он щелкал, как орехи. Само собой, орлиным своим взором лейтенант не мог обойти видную деваху Глашку Куклину. Где-то в узком месте подзажал он ее, и потекли по Чуши склизкие слухи.
      Игнатьич, тогда еще просто Зинка, Зиновий, или Зиновей, как звал его дедушка, за жабры присуху-Глашку и к ответу. На грудь ему Глашка пала: "Сама себя не помнила... Роковая ошибка..." -- "Ошибка, значит? Роковая! Хор-рошо-о! Но за ошибку ответ держат! За роковую -- двойной!" Виду, однако, кавалер никакого не показал, погуливал, разговорчики с дролей разговаривал, когда и пощупает, но в пределах необходимой вежливости.
      Ближе к весне боевого командира из тыла отозвали. Вздохнули мамы с облегчением, улеглись страсти и слухи в поселке. Глашка оживляться начала, а то как не в себе пребывала.
      В разлив, в половодье, когда ночи сделались совсем коротки и по-весеннему шатки, птицы пели за околицей и по лугам считай что круглосуточно, младой кавалер увел Глашку за поскотину, к тонко залитой вешнею водой пойме, прижал девку к вербе, оглоданной козами, зацеловал ее, затискал, рукою полез, куда велели мужики, науськавшие парня во что бы то ни стало расквитаться с "изменщицей". "Что ты, что ты! Нельзя!" -- взмолилась Глашка. "Лейтенанту можно?! А я тоже допризывник. Старшим лейтенантом, глядишь, стану!"
      Как он Глашке про лейтенанта брякнул, она и руки уронила.
      Поначалу-то он забыл и про месть, и про лейтенанта, поначалу он и сам себя худо помнил. Это уж потом, когда пых прошел, когда туман с глаз опал, снова в памяти высветлился лейтенант, чернявый, в сгармошенных сапогах, орден и значок на груди его сверкают, нашивка за фронтовую рану огнем горит! Это как стерпеть? Как вынести ревнивому сердцу? Трусовато оглядываясь, кавалер сделал то, чему учили старшие дружки: поставил покорную девку над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с нее байковые штанишки, крашенные домодельной краской, с разномастными, колотыми вальком, пуговицами, эти пуговицы и запомнились сильней всего, потому что бедный девичий убор приостановил было пакостные намерения. Но уже хотелось изображать из себя ухаря, познавшего грех, -- это придавало храбрости мокрогубому молодцу. Словом, поддал он хнычущей, трясущейся девчонке коленом в зад, и она полетела в воду. Пакостник с мозгой -- место выбрал мелкое, чтоб не утонула часом ухажерка, послушал, посмотрел, как белопузой нельмой возится, шлепается на мелководье девчонка, путаясь в исподине, словно в неводе, завывая от холода, выкашливая из себя не воду, а душу, и трусовато посеменил домой.
      С той поры легла меж двумя человеками глухая, враждебная тайна.
      Отслужив в армии в городе Фрунзе, Зиновий привез с собой жену. Глаха тем временем тоже вышла замуж за инвалида войны, тихого приезжего мужика, который выучился на счетовода, пока валялся в госпитале. Жила Глаха с мужем скромно, растила троих ребят. Где-то в глубине души Игнатьич понимал, что и замужество ее, и вежливое "здравствуйте, Зиновий Игнатьевич!", произнеся которое Глаха делала руки по швам и скорее пробегала, -- все это последствия того надругательства, которое он когда-то над нею произвел.
      Бесследно никакое злодейство не проходит, и то, что он сделал с Глахой, чем, торжествуя, хвастался, когда был молокососом, постепенно перешло в стыд, в муку. Он надеялся, что на людях, в чужом краю все быльем порастет, но, когда оказался в армии, так затосковал по родным местам, такой щемящей болью отозвалось в нем прошлое, что он сломался и написал покаянное письмо Глахе.
      Ответа на письмо не пришло.
      В первый же по приезде вечер он скараулил Глаху у совхозного скотного двора -- она работала там дояркой, сказал все слова, какие придумал, приготовил, прося прощения. "Пусть вас Бог простит, Зиновий Игнатьевич, а у меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со слезьми высочились. -- Глаха помолчала, налаживая дыхание, устанав- ливая голос, и стиснутым горлом завершила разговор: -- Во мне не только что душа, во мне и кости навроде как пусты..."
      Ни на одну женщину он не поднял руку, ни одной никогда больше не сделал хоть малой пакости, не уезжал из Чуши, неосознанно надеясь смирением, услужливостью, безблудьем избыть вину, отмолить прощение. Но не зря сказывается: женщина -- тварь божья, за нее и суд, и кара особые. До него же, до Бога без молитвы не дойдешь. Вот и прими заслуженную кару, и коли ты хотел когда-то доказать, что есть мужик -- им останься! Не раскисай, не хлюпай носом, молитвов своедельных не сочиняй, притворством себя и людей не обманывай! Прощенья, пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода! Значит, всякому свое, а Богу -- богово! Освободи от себя и от вечной вины женщину, прими перед этим все муки сполна, за себя и за тех, кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину, учиняет над нею пакости.
      -- Прос-сти-итееее... -- Не владея ртом, но все же надеясь, что хоть кто-нибудь да услышит его, прерывисто, изорванно засипел он. -- Гла-а-а-ша-а-а, прости-и-и. -- И попробовал разжать пальцы, но руки свело, сцепило судорогой, на глаза от усилия наплыла красная пелена, гуще зазвенело не только в голове, вроде бы и во всем теле. "Не все еще, стало быть, муки я принял", -- отрешенно подумал Игнатьич и обвис на руках, надеясь, что настанет пора, когда пальцы сами собой отомрут и разожмутся...
      \*\*\*

      Удар. Рывок. Рыба перевернулась на живот, нащупала вздыбленным гребнем струю, взбурлила хвостом, толкнулась об воду, и отодрала бы она человека от лодки, с ногтями, с кожей отодрала бы, да лопнуло сразу несколько крючков. Еще и еще била рыба хвостом, пока не снялась с самолова, изорвав свое тело в клочья, унося в нем десятки смертельных уд. Яростная, тяжко раненная, но не укрощенная, она грохнулась где-то уже в невидимости, плеснулась в холодной заверти, буйство охватило освободившуюся, волшебную царь-рыбу.
      "Иди, рыба, иди! Поживи сколько можешь! Я про тебя никому не скажу!" -- молвил ловец, и ему сделалось легче. Телу -- оттого, что рыба не тянула вниз, не висела на нем сутунком, душе -- от какого-то, еще не постигнутого умом, освобождения.